18+

РОССИЯ ЧУЖАЯ ПОБЕДА

Площадь, которая всегда пустеет



Павел Жданов

Павел Жданов

Россия. Чужая победа. Площадь, которая всегда пустеет

https://litres.ru/74985862
ISBN 9785007147507

Аннотация

Пять столетий истории — от вечевого колокола до Болотной площади. Толпы, готовые умереть за свободу. И каждый раз — один и тот же финал.

Эта книга задаёт вопрос, на который боятся отвечать: почему ярость миллионов неизменно оборачивается триумфом организованного меньшинства? Почему Разин, Пугачёв, декабристы, народовольцы, шахтёры Кузбасса и протестующие XXI века проигрывают одну и ту же битву?

Ответ не про власть. И не про трусость. Ответ, найденный здесь, изменит ваше понимание. Навсегда.

Содержание

РОССИЯ. ЧУЖАЯ ПОБЕДА 5
АННОТАЦИЯ 5
ГЛАВА 1. ПЛОЩАДЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА ПУСТЕЕТ 7
ГЛАВА 2. МОСКОВИЯ: РОЖДЕНИЕ МОДЕЛИ 12
ГЛАВА 3. РАЗИН: БУНТ БЕЗ БУДУЩЕГО 20
ГЛАВА 4. ПУГАЧЁВ: БУНТ БЕЗ ПРОГРАММЫ 26
ГЛАВА 5. ДЕКАБРИСТЫ: ЗАГОВОР БЕЗ НАРОДА 38
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Россия. Чужая победа
Площадь, которая всегда пустеет

Павел Викторович Жданов

© Павел Викторович Жданов, 2026

ISBN 978-5-0071-4750-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

РОССИЯ. ЧУЖАЯ ПОБЕДА

АННОТАЦИЯ

Каждое поколение здесь проходит через одну и ту же ночь.

Площадь. Толпа. Ощущение, что вот сейчас всё изменится навсегда.

А наутро — снова обычный транспорт на обычных улицах.

Так было в 1773-м. Так было в 1917-м. Так было в 2011-м. Разные лица, разные лозунги — и один и тот же финал.

Эта книга задаёт вопрос, на который пять столетий боятся ответить честно: почему в России ярость никогда не превращается в победу? Почему организованное меньшинство неизменно оказывается быстрее и хитрее миллионов — и почему победа, добытая одними, снова и снова достаётся другим?

Основанная на архивах, документах и работах историков — российских и западных, — книга прослеживает одну закономерность через колокол, увезённый на телеге в Москву, через клетку с самозванцем, через танки у Белого дома и до площадей нашего времени.

Ответ, который вы найдёте здесь, не про власть.

Он про то, чего не хватает по другую сторону баррикад,

чтобы победа наконец осталась в тех же руках, что её добыли, — и почему это можно изменить.

ГЛАВА 1. ПЛОЩАДЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА ПУСТЕЕТ

Декабрь. Москва. Тот самый вечер, когда снег ложится не мягко, а зло — острыми, колючими хлопьями, будто небо тоже злится.

На проспекте Сахарова — сто тысяч человек. Может, больше. Дыхание толпы поднимается над головами белым паром, смешивается, превращается в одно общее облако, будто у ста тысяч людей вдруг стало одно тело и одни лёгкие. Кто-то держит плакат размокшей от снега надписи маркером. Кто-то греет руки о пластиковый стаканчик с чаем, который уже остыл, но выбросить его — значит, отпустить единственную тёплую вещь на этом морозе.

Человек в потёртой куртке — назовём его Игорь, потому что таких Игорей в тот вечер были тысячи — стоит в третьем ряду от сцены и впервые за долгие годы чувствует то, что почти забыл: он не один. Рядом с ним — плечом к плечу — совершенно незнакомые люди, но в этот момент они ближе, чем родственники. Кто-то передаёт вперёд бутылку воды по цепочке, и Игорь ловит себя на мысли: вот оно. Вот то самое чувство, о котором пишут в книгах про революции. Общество проснулось.

Он идёт домой в третьем часу ночи, всё ещё в этом облаке

эйфории, и думает: завтра будет по-другому.

Назавтра он идёт на работу. Послезавтра — тоже. Через неделю приходит повестка знакомому с площади. Через месяц — статья в новостях, что организаторов задержали. Через полгода — тишина. Проспект Сахарова снова просто проспект, с обычными машинами, обычной слякотью, обычными людьми, которые торопятся мимо того места, где сто тысяч человек однажды почувствовали себя единым организмом — и разошлись по домам поодиночке.

Это не история про декабрь 2011 года. Это история, которая повторяется в России с точностью, достойной лучшего применения — просто меняются костюмы, лозунги и цвет знамён.

Паттерн, который не хочет замечать никто

В 1773 году такая же волна поднимается на Урале и в Поволжье. Емельян Пугачёв ведёт за собой десятки тысяч человек: казаков, крестьян, рабочих заводов, инородцев, уставших от гнёта настолько, что смерть на плахе кажется меньшим злом, чем ещё один год барщины. Это крупнейшее восстание в истории Российской империи. И у него нет ничего, кроме ярости: ни программы, ни структуры управления захваченными территориями, ни плана, что делать после победы — если победа вообще возможна. Восстание подавлено, Пугачёва привозят в клетке в Москву, и после этого крепостное право не отменяют — его усиливают.

В феврале 1917-го — снова стихия. Женщины в очере-

дях за хлебом, замёрзшие солдаты Петроградского гарнизона, которые отказываются стрелять в толпу. Монархия падает не потому, что кто-то её грамотно свергал, а потому что она сыпется сама, как трухлявая стена. Стихийная, безрежиссёрская, настоящая народная революция — редчайший в русской истории случай.

А дальше происходит то, что стоит запомнить пуще всего: восемь месяцев спустя власть в стране берёт не тот, кто стоял в очередях за хлебом. Её берёт узкая, дисциплинированная, прекрасно организованная группа, значительная часть финансирования и логистической поддержки которой — задокументированный факт, подтверждённый архивами германского МИДа и исследованиями западных историков — пришла из Берлина, у которого была вполне прагматичная цель: вывести Россию из войны любой ценой. Было ли это единственной причиной октябрьского переворота? Нет — большевики опирались на реальное, выстраданное годами недовольство. Но верно и другое: организованное меньшинство, использовавшее хаос и внешние ресурсы, оказалось расторопнее миллионов, которые этот хаос создали своими руками.

Закономерность здесь простая. Не власть меняется в ответ на волю народа. Меняется вывеска на здании, пока настоящий хозяин здания остаётся прежним — организованным, безжалостным, готовым.

Почему это не обвинение, а диагноз

Легко было бы сказать: народ ленив, народ труслив, народ сам виноват. Это неправда и, что важнее, — это бесполезная мысль. Люди на площади в 2011-м не были трусами. Люди, вышедшие за Пугачёвым на верную смерть, не были ленивы. Дело не в характере отдельных людей. Дело в том, чего у них никогда не было времени построить: **инфраструктуры доверия друг к другу, которая переживет**** одну морозную ночь.**

Столетиями система делала одно и то же с методичностью, достойной инженерного проекта: разрушала любую связь между людьми, которая формировалась в стороне от государства. Общину заменяли колхозом. Соседскую взаимопомощь — доносом соседа на соседа. Профсоюз — государственным профсоюзом. Церковный приход — филиалом идеологического аппарата. Каждый раз, когда между людьми начинала прорастать та самая нить — способность объединиться и не разбежаться, когда станет по-настоящему страшно, — эту нить обрезали. Иногда буднично, иногда кроваво, но обрезали неизменно.

И вот в чём главный вопрос этой книги, вопрос, который я буду задавать снова и снова на страницах, посвящённых Разину, Пугачёву, декабристам, народовольцам, диссидентам, шахтёрам Кузбасса, Болотной площади: **не «почему русские не восстают», а «почему, когда они всё-таки восстают, у них нет ничего, что помогло бы удержать плоды этого восстания в своих руках, а не в руках тех, кто**

ждал в стороне».

Но у этого вопроса есть более тихая, более тревожная изнанка, к которой я буду возвращаться параллельно с институциональной историей. Список имён из предыдущего абзаца при ближайшем рассмотрении складывается в отдельный узор. Разина выдаёт его собственный крёстный отец. Пугачёва сдают его же казаки. Заговор декабристов рассыпается, потому что свой же товарищ не приходит в условленное место. «Народную волю» добивает не жандармерия, а предательство изнутри исполнительного комитета. Кузбасские шахтёры отдают с трудом накопленную независимость тому самому человеку из старой элиты, который десятилетие спустя не заплатит им зарплату. Раз за разом источником спасения и источником крушения оказывается одно и то же лицо — не внешний враг, а тот, кому доверяли внутри круга. Причины этому институциональные, но след, который это оставляет, — уже не только институциональный.

Ответ на этот вопрос — не про генетику и не про «особый путь». Он про историю конкретных решений, конкретных институтов, конкретных людей, которые эти институты строили или разрушали. А значит — теоретически — это история, которую можно изменить.

Но сначала нужно перестать врать себе, что площадь, заполненная людьми однажды, — это уже победа.

Она никогда ей не была. Пока.

ГЛАВА 2. МОСКОВИЯ: РОЖДЕНИЕ МОДЕЛИ

Колокол, который увезли в Москву

13 января 1510 года на главной площади Пскова происходит вещь, на первый взгляд, техническая. Люди великого князя Василия III снимают вечевой колокол — тот самый, звоном которого столетиями созывали горожан на собрание, чтобы решить: воевать или мириться, кого звать в князья, а кого гнать вон, как облагать налогом торговцев. Колокол грузят на телегу и увозят в Москву.

Это не просто конфискация куска бронзы. Это, выражаясь современным языком, демонтаж операционной системы. Вечевой колокол — это интерфейс, через который город столетиями разговаривал сам с собой и принимал решения без оглядки на волю одного человека. Забрав колокол, Москва не отобрала имущество — она отобрала у людей сам механизм совместного решения. Отныне Псковом будут управлять исключительно московские наместники и чиновники.

Похожая сцена уже произошла тридцатью двумя годами раньше в Новгороде — городе, который на протяжении веков был устроен принципиально иначе, чем всё, что мы привыкли считать «русской традицией».

Город, который мог стать другой Россией

Новгородская республика — это не миф и не идеализация задним числом. Западные и российские историки-медиевисты сходятся в том, что высшим органом власти в Новгороде было вече — собрание, формально открытое для всех свободных мужчин города, которое избирало посадника и тысяцкого и решало вопросы войны, союзов и торговых договоров с другими странами. Более того, когда Новгород начал укреплять собственную субъектность, именно вече проголосовало за ограничение полномочий приглашённого князя формальным договором: князю запрещалось держать более пятидесяти дружинников, он был обязан клятвенно соблюдать новгородские законы и не имел права владеть землёй или заниматься торговлей внутри города.

То есть за четыре века до французской и английской конституционных традиций Новгород уже практиковал идею, что власть правителя может и должна быть ограничена договором с городской общиной.

Американский историк Николай Петро в своём исследовании новгородской модели прямо называет город альтернативным путём русской истории — путём, который не состоялся. Причём, что немаловажно, эта модель самоуправления оказалась настолько живучей, что даже после падения республики глубоко укоренившееся представление о местном самоуправлении сохранилось: уличные выборы, избрание городского магистрата и городские собрания медленно вновь заявляли о себе, пробиваясь через московскую адми-

нистративную систему уже в семнадцатом столетии.

Это важная деталь: люди на этих территориях не были органически, «генетически» неспособны к самоуправлению. Институт был — и оказался достаточно живучим, чтобы прорастать сквозь асфальт даже спустя столетие после разгрома. Вопрос не в характере людей. Вопрос в том, что произошло с институтом дальше.

1478 год: как заканчивается альтернатива

В 1478 году московский великий князь Иван III берёт Новгород силой оружия. Согласно свидетельствам, зафиксированным историками, он упразднил посадничество, институт тысяцких и само вече, а вечевой колокол, точно так же как позже в Пскове, был снят и увезён в Москву — акт, который исследователи описывают не только как конец независимого Новгорода, но и как символ триумфа московской централизации над автономными и независимыми тенденциями, а также победы княжеской власти над альтернативными, более партиципаторными республиканскими или аристократическими институтами.

Дата и контекст здесь важны: пока Москва физически демонтирует городское самоуправление на своих северо-западных землях, буквально в те же десятилетия в соседней Польше и Великом княжестве Литовском (частью которого были территории нынешних Украины и Беларуси) происходит обратный процесс: десятки городов одну за другой получают магдебургское право — систему городского самоуправ-

ления, пришедшую из Центральной Европы, дававшую горожанам собственный суд, собственных выборных чиновников, право торговать и организовываться в цехи без разрешения сверху. Исследователи магдебургского права на украинских и белорусских землях фиксируют его широкое и устойчивое распространение начиная с XIV века — институт просуществовал там, с разной степенью полноты, вплоть до имперских реформ XIX века.

Проще говоря: там, где на западных и юго-западных славянских землях в это самое время укоренялась традиция городской автономии, на территории будущей России она была физически изъята — колоколом, увезённым на телеге в Москву.

Патримониальное государство: диагноз, поставленный извне

Гарвардский историк Ричард Пайпс, один из крупнейших западных советологов XX века, посвятил этому вопросу главный труд своей карьеры — «Россия при старом режиме» (*Russia Under the Old Regime*, 1974). Его центральный тезис: в отличие от Западной Европы, где власть правителя с раннего Средневековья ограничивалась независимыми от него центрами силы — церковью, аристократией с собственными землями, вольными городами, — в России сложилось то, что Пайпс называет «патримониальным государством»: строй, при котором страна воспринималась как личная собственность царя.

Это не метафора и не публицистическое преувеличение — это строгий социологический термин, который Пайпс применяет предельно конкретно: Россия принадлежит к категории государств, которые в политической и социологической литературе принято называть патримониальными; в таких государствах политическая власть понимается и реализуется как продолжение прав собственности, а правитель одновременно является и сувереном страны, и её владельцем.

Практическое следствие этой модели простое и жестокое: если страна — это собственность государя, то любое независимое объединение подданных — городская община, купеческая гильдия, землевладельческая корпорация, вообще любая структура, которая могла бы стать альтернативным центром силы, — воспринимается не как естественная часть общественной жизни, а как покушение на чужую собственность. Пайпс прослеживает, как на протяжении веков — от московских князей до Петра I и далее — российское государство системно блокировало именно те социальные группы и институты, которые в Европе стали фундаментом гражданского общества: целью государства оставалось материальное обогащение правителя и блокирование развития альтернативных источников власти, способных бросить вызов правителю.

Показательно, что даже боярство — казалось бы, естественный кандидат на роль аристократической оппозиции короне, как это было в Англии эпохи Великой хартии воль-

ностей, — по оценке Пайпса, так и не сумело институционализировать своё влияние: боярская дума обсуждала и советовала, но никогда не обладала правом ограничивать волю государя договором, подобно тому как это на два века раньше сделало новгородское вече по отношению к приглашённому князю.

Земские соборы: институт, которому не дали вырасти

У скептика здесь может возникнуть законный вопрос: а как же земские соборы XVI—XVII веков — те самые представительные собрания, которые в 1613 году избрали на царство первого Романова? Разве это не аналог европейских сословных парламентов — английского Parliament, французских Генеральных штатов?

Формально — да, похоже. По существу — принципиальная разница в траектории. Английский парламент на протяжении столетий боролся с короной за расширение своих полномочий и в итоге победил, ограничив монархию биллем о правах. Земские соборы прошли обратный путь: созывались нерегулярно, по инициативе самой власти и в основном тогда, когда власти требовалось разделить ответственность за непопулярные решения (введение новых налогов, объявление войны) или легитимировать смену династии. К концу XVII века земские соборы просто перестают созываться — не в результате какой-то битвы или разгона, а по банальной ненадобности: институт тихо атрофировался за ненадобно-

стью, потому что абсолютистское государство при Алексее Михайловиче и особенно при Петре I больше не нуждалось даже в декоративном согласии сословий.

Сравните это с параллельной европейской траекторией: пока в Англии парламент выигрывает гражданскую войну XVII века и закрепляет свою победу «Славной революцией» 1688 года, в России Соборное уложение 1649 года окончательно и юридически закрепощает крестьянство, привязывая его к земле и, по сути, к воле помещика — бессрочно и наследственно. Это не совпадение по датам, это симметрично противоположные исходы одного и того же столетия.

Почему это важно

Если проследить логику этой главы до конца, вывод получается не «культурологический» («у русских такой характер»), а институциональный, и потому — гораздо более жёсткий и одновременно куда менее фаталистичный.

Институт горизонтальной самоорганизации — вечевое собрание, городская коммуна с собственным судом и казной, сословное представительство с реальными полномочиями — в других частях Европы прошёл путь от зародыша к устойчивой структуре, потому что раз за разом побеждал в конфликте с центральной властью или, как минимум, отвоёвывал себе законодательно закреплённое место. На территории, ставшей Россией, тот же тип института — вече в Новгороде и Пскове, земские соборы в Москве — либо был физически уничтожен силой (колокол на телеге), либо тихо

атрофирован за ненадобностью, так и не пройдя точку необратимого закрепления.

Это и есть, на мой взгляд, подлинный корень того, почему победа здесь снова и снова достаётся не тем, кто её добыл, — не трусость отдельных людей на конкретной площади в конкретный декабрьский вечер, а четырёхсотлетний дефицит инфраструктуры, той самой ткани институтов, которая в другом месте превращает разовую вспышку недовольства в необратимое изменение баланса сил.

Первое столкновение с этим дефицитом случится куда раньше, чем принято вспоминать, — за столетие до Пугачёва, чьё имя давно стало нарицательным для русского бунта. Атаман, о котором пойдёт речь дальше, проложит для Пугачёва не только маршрут по волжским городам, но и саму структуру поражения.

ГЛАВА 3. РАЗИН: БУНТ БЕЗ БУДУЩЕГО

Атаман, которого выдал крёстный отец

Весной 1671 года на Дону группа домовитых казаков во главе с атаманом Корнилой Яковлевым выдаёт царским воеводам человека, которого ещё год назад казачий круг считал живой легендой, — Степана Разина. Яковлев был не случайным предателем: по некоторым свидетельствам, он приходился Разину крёстным отцом. Разина привозят в Москву в железной клетке — за сто лет до того, как в такой же клетке по тем же дорогам повезут Пугачёва, — и 6 июня 1671 года четвертуют на Красной площади за «злые и мерзкие дела» против государя.

Это не первое совпадение между двумя восстаниями, разделёнными столетием, и не последнее. Прежде чем перейти к тому, что их роднит, стоит разобраться, с чего вообще началось восстание, которое сами историки называют первым из трёх больших крестьянско-казачьих бунтов, потрясших Россию за два века, предшествовавшим и Пугачёву, и — уже в XX веке — крестьянским восстаниям Гражданской войны.

От пиратства к войне против бояр

Разин не начинал как политический вождь. В 1667—1669 годах около восьмисот донских казаков, вопреки прямому

запрету Москвы, ушли с ним в грабительский поход на Каспий — набеги на персидские и дагестанские земли, захват торговых караванов. Это был классический казачий промысел, не бунт: добыча, а не программа. Успех похода сделал Разина стремительно популярным среди рядовых казаков и убедил его в двух вещах разом — что царского прощения ему уже не получить, и что слабые московские гарнизоны на Волге не способны ему помешать.

Вернувшись на Дон весной 1670 года, Разин отказывается сдаться, убивает московского посланника и, опираясь на свою популярность, откалывается от лояльного Москве казачьего войска, сформировав собственное. К нему стекаются семь тысяч человек. Дальнейшее решение — идти вверх по Волге — сам Разин формулирует перед казачьим кругом уже не как пиратский набег, а как поход «в Русь на изменников бояр». К осени 1670 года его силы берут Царицын, Астрахань, Саратов, Самару.

Программа, которой не было

Здесь стоит остановиться на детали, важной для понимания всего восстания. В захваченных городах Разин на время вводил казачье самоуправление — но это было не государственное строительство, а временная оккупационная мера. Официальную советскую историографию, стремившуюся изобразить восстание Разина как раннюю форму общенародной антифеодальной классовой войны, современные исследователи прямо называют преувеличением: реальной це-

лью Разина было скорее закрепление контроля над низовьями Волги и расширение масштаба казачьего промысла в Каспийском регионе, чем построение нового политического порядка.

К движению примыкали представители низшего духовенства, посадские люди, гарнизонные стрельцы, бурлаки, крестьяне, чувашские и мордовские общины — недовольных хватало. Но у восстания, как и полтора века спустя у Пугачёва, не было ничего похожего на программу устройства государства после победы. Ни земельной реформы, ни системы управления захваченными территориями, ни института, способного пережить военное поражение самого Разина. Единственным, что скрепляло разноплемённую массу восставших, была личная харизма атамана — и миф о походе против «изменников-бояр», хранящих царя в неведении о собственных злодеяниях, восходящий к той же наивно-монархической традиции, которая полтора века спустя даст Пугачёву маску «доброго царя Петра Фёдоровича».

Симбирск и перелом

Сентябрь 1670 года становится переломным. Пять тысяч казаков осаждают Симбирск — небольшую деревянную крепость, обороняемую царскими полками «нового строя». Оборона держится достаточно долго, чтобы к городу подошло царское войско под командованием князя Юрия Барятинского. Разгром оказывается сокрушительным: по подсчётам историков, потери восставших под Симбирском соста-

вили от десяти до пятнадцати тысяч человек против тридцати девяти убитых у правительственных войск. Сам Разин, раненый, бежит на Дон — собирать новые силы, которых уже не будет.

Дальнейшее подавление восстания растягивается на зиму 1670—1671 годов и координируется из единого командного пункта в Арзамасе князем Юрием Долгоруковым, руководившим сразу пятью правительственными армиями. Методы усмирения не оставляют пространства для романтики: современные источники описывают волну карательных казней, включавшую четвертование, колесование, повешение на крюках, — по разным оценкам историков, число погибших в ходе восстания и последовавших репрессий составило порядка ста тысяч человек.

Казнь на Красной площади

Разгромленный, преданный собственными казаками, Разин был доставлен в Москву в клетке и после пыток казнён — четвертован на Красной площади. Летописная легенда, которую спустя два столетия пересказывал Пушкин применительно уже к Пугачёву, здесь родилась впервые: родители приводили детей посмотреть на казнь, чтобы те запомнили её на всю жизнь.

Стоит зафиксировать здесь одну деталь, к которой я буду возвращаться на протяжении всех последующих глав. Разгром под Симбирском обескровил восстание, но добил его не царский полк, а то, что произошло дальше внутри соб-

ственного круга: Разин бежал на Дон собирать новые силы, и именно в этот момент, когда судьба движения ещё не была предрешена, его выдал собственный крёстный отец — человек из ближнего круга, которому доверяли по определению. Это первый, но далеко не последний случай в этой книге, когда решающим оказывается не столько само военное поражение, сколько то, что происходит после него внутри собственного круга.

Восстание было раздавлено за считаные месяцы после Симбирска — не потому, что власть оказалась милосерднее, чем при подавлении Пугачёва столетием позже, а по той же самой причине: у стихийной массы, объединённой личностью одного атамана и мифом о добром царе, не было ничего, что могло бы пережить сочетание военного поражения и предательства изнутри.

Почему это первая, а не единственная такая история

Симметрия между Разиным и Пугачёвым слишком точна, чтобы быть случайностью. Оба — донские казаки. Оба сначала возглавляют военный промысел, а не восстание, и лишь затем превращают личную популярность в вооружённый поход против «бояр-изменников», формально оставляя царя вне подозрений. Оба берут волжские города одним и тем же маршрутом — Царицын, Астрахань, Саратов, Самара — с разницей в сто три года. Оба терпят решающее военное поражение, после которого некому и нечем удержать

разбегающуюся массу восставших. Оба преданы собственными соратниками, рассчитывавшими купить прощение чужой головой. Обоих привозят в Москву в железной клетке. Обоих казнят на одной и той же площади.

Это не совпадение исторических деталей — это одна и та же структурная история, рассказанная дважды с разницей в век. Между вечевым колоколом, снятым в 1478 году, и первым по-настоящему массовым крестьянско-казачьим восстанием прошло меньше двух столетий — и всё это время институт, способный превратить военную силу в политический результат, в России так и не появился. Разин доказывает это на сто лет раньше Пугачёва: дело не в личности одного конкретного атамана, не в удаче или невезении конкретного восстания — дело в отсутствии структуры, которая появляется на этой земле раз за разом, каждый раз с чистого листа, и раз за разом гибнет вместе с человеком, который её на короткое время заменял собой.

Дальше — уже знакомый читателю Пугачёв, наиболее известный и наиболее масштабный из этой цепи восстаний, обе версии его истории: официальная и та, что живёт вопреки ей в интернет-пространстве.

ГЛАВА 4. ПУГАЧЁВ: БУНТ БЕЗ ПРОГРАММЫ

Человек в железной клетке

4 ноября 1774 года по улицам Москвы везут железную клетку на телеге. Внутри — человек в грязной рубахе, бородатый, измождённый долгой дорогой из-под Яицкого городка. Люди сбегаются посмотреть — не потому, что боятся, а потому что перед ними, по слухам, только что вчера был живой царь, а сегодня — государственный преступник номер один. Пушкин, спустя шестьдесят лет собиравший в этих же местах устные свидетельства очевидцев, запишет фразу, которую родители тех лет говорили детям, приводя их поглядеть на клетку: «Запомни, ты видел Пугачёва».

Емельян Пугачёв — донской казак, бывший солдат, дезертир, к 1773 году уже несколько раз бежавший из-под ареста, — за два неполных года станет во главе крупнейшего восстания в истории Российской империи. Через полтора года после клетки на телеге его четвертуют на Болотной площади в Москве.

Это глава про то, почему армия в десятки тысяч человек, наводившая ужас на Екатерину II, так и не смогла превратить военные победы в политический результат. Но прежде чем говорить о поражении, нужно разобраться, кем на са-

мом деле был человек в клетке — и здесь начинается по-настоящему интересный сюжет, потому что версий, как выясняется, две. Одна — академическая, подтверждённая архивами. Другая — живущая по сей день в интернет-пространстве, которую стоит разобрать отдельно, потому что она сама по себе многое говорит о том, как в России устроен спрос на альтернативную историю.

ВЕРСИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ: самозванец, принявший имя убитого царя

Кем он был на самом деле

Согласно консенсусу российской и западной историографии — от Пушкина, написавшего первое серьёзное историческое исследование о восстании, до современных западных советологов, — Пугачёв был обычным человеком незнатного происхождения: человеком, который потряс могущественную империю до основания, был рядовым казаком с Дона. Он служил в армии, проявил себя как храбрый солдат, но затем дезертировал и на протяжении нескольких лет жил жизнью беглеца, не раз попадавшего в руки властей и не раз убегавшего.

Ключевой момент его биографии — не военный, а пропагандистский. Пугачёв не был первым самозванцем, назвавшимся именем Петра III. Историк Филип Лонгворт в своей ставшей классической статье для журнала *Past & Present* насчитывает как минимум семь подобных самозванцев, объявившихся в России в период с 1764 года, — то есть Пугачёв

встроился в уже существующую, узнаваемую традицию, а не изобрёл собственный трюк.

Почему именно Пётр III

Здесь есть реальная, документированная предыстория. Пётр III — это не вымышленный персонаж и не пропагандистская фикция. Это настоящий российский император, вступивший на престол в 1762 году и процарствовавший всего полгода: его собственная жена, будущая Екатерина II, организовала против него дворцовый переворот, а спустя несколько дней после отречения он погиб при обстоятельствах, которые практически все историки считают убийством, организованным его окружением.

Это создало уникальную социально-психологическую ситуацию, которую западные исследователи описывают без обиняков: Пётр III стал символом надежды и перемен; его сторонники воспринимали его как потенциального реформатора, несправедливо отстранённого от власти, и это восприятие давало самозванцам вроде Пугачёва и Щепана Малого налёт легитимности. Народная молва приписывала мёртвому императору не сохранившиеся указы об облегчении крестьянской доли, а миф о «добром царе», которого «злая немка» -жена лишила трона.

Пугачёв использовал этот миф с редким прагматизмом. Уже первый манифест повстанцев, изданный в конце сентября 1773 года шестьюдесятью бунтовщиками, призывал казаков, калмыков и татар служить Петру III ради славы, земли

и материального вознаграждения, а к июлю 1774 года, в разгар восстания, он от имени «императора Петра Фёдоровича» издаёт манифест, который историки называют кульминацией движения: он объявлял крестьянскую вольность и право владеть землёй, которую они обрабатывали, освобождал их от податей и повинностей. Вторая половина того же манифеста без обиняков призывала ловить, казнить и вешать помещиков.

Игра в царский двор

Пугачёв не просто называл себя царём — он старательно разыгрывал весь ритуал царской власти. Очевидцы описывают, как он продолжал держать царский двор в образе Петра III, окружив себя личной гвардией из двадцати пяти хорошо вооружённых яицких казаков, восседая в парадном красном кафтане, отделанном золотым позументом, со скипетром в одной руке и серебряным топором в другой, пока просители преклоняли колени и целовали ему руку. Это не случайная деталь для книги о протестном потенциале общества — это диагноз. Даже вожак крупнейшего антифеодального восстания в русской истории не смог предложить своим последователям ничего, кроме копирования той самой монархической модели, против практики которой они восставали. Не республика, не земское собрание, не подобие казачьего круга, распространённого на всю освобождённую территорию, — а точная имитация царского двора с царскими регалиями.

Финал

Военные успехи повстанцев были реальными и пугали Петербург всерьёз: по некоторым оценкам, армия Пугачёва в пике насчитывала до ста тысяч человек, а власти вынуждены были ускорять окончание войны с Турцией, чтобы перебросить регулярные войска на подавление восстания внутри страны. Но структуры, способной удержать захваченные территории и конвертировать военную силу в устойчивый политический порядок, за два года так и не сложилось. Когда генерал Михельсон нанёс решающее поражение под Царицыном в сентябре 1774-го, оказалось, что держать вместе разношёрстную массу казаков, крестьян, башкир, калмыков и заводских рабочих было нечем, кроме личной харизмы одного человека и мифа о «добром царе». Как только миф пошатнулся, собственные казаки выдали Пугачёва властям в Яицком городке 26 сентября 1774 года, рассчитывая купить себе прощение его головой. Это та же самая развязка, что и столетием раньше с Разиным, — только на этот раз предали не крёстный отец, а те, с кем Пугачёв делил и походную кашу, и виселицы.

Расплата была показательной: власти демонстративно стирали саму память о восстании. Чтобы уничтожить любые напоминания о бунте, были переименованы Яицкий городок, сама река Яик, яицкие казаки и родная станица Пугачёва — а его жену и детей отправили в ссылку. Река Яик стала Уралом. Яицкие казаки — уральскими. Это тоже часть общей картины: власть не просто подавляет протест, она стира-

ет саму топонимическую память о нём, чтобы будущим поколениям не на что было опереться даже символически.

ВЕРСИЯ НЕОФИЦИАЛЬНАЯ: Пугачёв как «свергнутый император Великой Тартарии»

Читатель, интересующийся альтернативными версиями русской истории, наверняка сталкивался с другой трактовкой личности Пугачёва — куда более сенсационной. Согласно ей, Пугачёв не был самозванцем-казаком, а действительно был правителем — только не Российской империи, а отдельного, независимого государства, которое эта версия называет «Великой Тартарией»: якобы существовавшей до конца XVIII века могущественной евразийской цивилизацией со столицей в Сибири, обладавшей собственной государственностью, армией с артиллерией и высокими технологиями. А «восстание Пугачёва», по этой версии, на самом деле было полномасштабной войной Российской империи Романовых на уничтожение этого государства, которую задним числом переписали в учебниках как «крестьянский бунт», чтобы скрыть истинный масштаб событий и легитимность противника.

Здесь нужна прямота без экивоков: **это не альтернативная историография — это то, что в академической среде принято прямо называть псевдоисторией**, и мой долг перед читателем — объяснить, откуда она взялась и почему не выдерживает проверки.

Откуда взялась эта версия

Слово «Тартария» — вполне реальный исторический термин: так европейские картографы XVI—XIX веков обозначали слабо изученные ими территории Центральной Азии и Сибири, населённые тюркскими и монгольскими народами, — примерно так же расплывчато, как позже европейцы использовали слово «Африка» для целого континента с десятками разных цивилизаций. На старых картах действительно можно найти надписи «Great Tartary», «Chinese Tartary», «Independent Tartary» — и это не выдумка, это подлинные исторические артефакты. Но современная теория «Тартарской империи» берёт эти надписи и достраивает вокруг них конспирологическую надстройку, которой у самих карт никогда не было.

Современный вид эта теория приобрела благодаря российскому математику Анатолию Фоменко, автору так называемой «Новой хронологии» — концепции, отвергающей общепринятую историческую хронологию как результат позднего фальсификаторского заговора. Английская Википедия формулирует научную репутацию этой теории без обиняков: теория была впервые широко распространена в 1990-х годах и получила универсально негативную оценку со стороны академических историков. Отдельная статья, посвящённая именно тартарской версии, ещё жёстче определяет её жанр: Тартарская империя, или Великая Тартария, — это группа псевдоисторических теорий заговора, включающих идеи «скрытого прошлого» и «грязевых потопов», ко-

торые изначально возникли как псевдонаучный русский национализм.

Исследователи, специально изучавшие происхождение этой волны в интернете, прослеживают её массовое распространение как коммерческий продукт — книги Фоменко и его соавтора Носовского продаются под маркетинговым слоганом об «Империи Тартарии», при том что серьёзная историческая наука единодушно относит подобные построения к жанру фолк-хистори.

Что конкретно утверждает эта версия о Пугачёве

В рамках этой теории Емельян Пугачёв — не беглый казак, а последний легитимный правитель (в разных изложениях теории — «хан», «император» или прямой наследник некой династии) независимой Тартарии, силой оружия отстаивавший суверенитет своего государства от экспансии молодой Российской империи Романовых. Огромная численность его армии (по мнению сторонников теории — гораздо больше официально признаваемых цифр) и применение артиллерии интерпретируются не как признак масштабного, но стихийного крестьянско-казачьего движения, а как доказательство того, что это была война двух государств, а не подавление внутреннего бунта. Дальше в дело идёт уже знакомый по другим конспирологическим конструкциям приём: официальную историографию объявляют результатом сознательной фальсификации победителей — Романовской династии, — заинтересованных в том, чтобы

представить уничтожение суверенного государства как разгром «мятежа черни».

Почему это не выдерживает проверки

У этой версии есть фундаментальная проблема, общая для всей конспирологии подобного рода: у неё нет ни одного независимо верифицируемого источника — ни дипломатической переписки других государств (а торговые и дипломатические контакты России XVIII века с Европой, Османской империей, Китаем и Персией задокументированы исключительно плотно и никем не оспариваются), ни монет, ни архитектурных памятников, ни административных документов на территории «Тартарии», ни единого упоминания в архивах третьих стран о существовании отдельного тартарского государства сопоставимого с Россией масштаба в XVIII веке. Историки, специально разбиравшие происхождение старинных карт с надписью «Tartary», объясняют это предельно приземлённо: это был универсальный термин, которым европейские картографы обозначали обширные и малоизвестные им регионы Азии, населённые различными тюркскими и монгольскими народами — то есть белое пятно на карте европейского знания, а не свидетельство существования единой сверхдержавы.

Даже сама теория внутренне не находит согласия по ключевому вопросу — каким именно императором Пугачёв «на самом деле» был: в одних версиях он — хан Тартарии, в других его напрямую отождествляют с легендой о «чудом спас-

шемся» Петре III, смешивая тем самым вполне реальный исторический миф о «добром царе» (описанный выше, в официальной части этой главы) с гораздо более поздней и совершенно отдельной конспирологической конструкцией о глобальной цивилизации.

Почему эта версия всё-таки заслуживает места в этой книге

Я включаю разбор этой теории не для того, чтобы посмеяться над её сторонниками. Она заслуживает серьёзного внимания именно в контексте темы книги — потому что сам факт её популярности — симптом той же болезни, которую книга диагностирует. Официальная историография о Пугачёве, при всей своей многовековой академической проверенности, оставляет открытой одну болезненную психологическую пустоту: она рассказывает историю движения в сто тысяч человек, которое так и не смогло ничего удержать и было раздавлено, — а конспирологическая версия предлагает утешительный реванш задним числом: не «мы проиграли, потому что не сумели организоваться», а «нас на самом деле победили не потому, что мы были слабы, а потому что мы были не бунтовщиками, а целой цивилизацией, которую подло стёрли из истории». Это классический механизм компенсаторного мифотворчества — и он гораздо приятнее для самооценки, чем институциональный диагноз, который ставит эта книга.

Именно поэтому я прошу читателя удержать в голове обе

версии одновременно и увидеть между ними разницу не в фактах, а в психологической функции: одна версия — это подтверждённая документами история, требующая признать поражение и его институциональные причины. Другая — это утешительная легенда, снимающая ответственность за поражение с самого общества и перекладывающая её на абстрактный «мировой заговор фальсификаторов». Книга, которую вы читаете, сознательно выбирает первый, более тяжёлый путь — потому что только он оставляет пространство для реального вопроса: что можно изменить.

Что было и чего не было

Возвращаясь к сухому остатку этой главы: Пугачёв возглавил крупнейшее восстание в истории империи, вооружённое, массовое, растянувшееся на два года и охватившее территорию от Урала до Волги. Это не был фейк и не была спецоперация власти — это было настоящее, кровавое, отчаянное восстание сотен тысяч людей, доведённых крепостничеством и произволом до предела.

И при этом у восстания не было ничего, кроме личности одного самозваного «царя» и заимствованного у той же власти, против которой оно боролось, ритуала царского двора. Ни программы государственного устройства на случай победы, ни структуры управления захваченными территориями, ни института, способного пережить смерть или пленение лидера. Всё держалось на одном человеке и одном мифе — и рухнуло вместе с ним в тот момент, когда собственные со-

ратники решили, что выгоднее сдать царя, чем умереть за него.

Это первый большой пример закономерности, которую эта книга будет прослеживать снова и снова: массовая ярость в России исторически была огромной, искренней и по-настоящему опасной для власти. Организации, способной эту ярость удержать и конвертировать в устойчивый результат, не было почти никогда.

Декабристы попробуют прямо противоположный путь — не стихию низов, а заговор образованных верхов, с программой и конституционным проектом наперевес. У них тоже не получится. Причина будет совсем другая.

ГЛАВА 5. ДЕКАБРИСТЫ: ЗАГОВОР БЕЗ НАРОДА

Площадь, скованная морозом и нерешительностью

14 декабря 1825 года, Сенатская площадь Петербурга. Не крестьяне с косами, не яицкие казаки — на площадь выходит гвардия. Московский лейб-гвардии полк, гренадеры, гвардейский морской экипаж — около трёх тысяч офицеров и солдат отказываются присягать новому царю Николаю I, вместо этого провозглашая верность идее российской конституции и конституционной монархии. За плечами у зачинщиков — Наполеоновские войны, европейские походы, где хорошо образованные русские офицеры на собственном опыте познакомились с европейским либерализмом и, вернувшись в самодержавную Россию, вдохновились стремлением к переменам.

Это восстание непохоже на бунт Пугачёва ни единой деталью. Здесь нет ни одного крестьянина в первых рядах. Здесь нет самозванного «доброго царя». Здесь — конституционный проект, разработанный образованными людьми, знавшими, чего они хотят: отмену крепостного права и введение конституционного правления. По формулировке одного из ключевых идеологов движения, Павла Пестеля, программа включала отмену крепостничества, отмену сословных при-

вилегий и — в его, самом радикальном варианте — установление республики.

Казалось бы: вот он, шанс на организованную, программную, интеллектуально подготовленную революцию сверху. И тем интереснее разобрать, почему и этот путь — противоположный пугачёвскому по всем параметрам — закончился тем же самым: эшафотом, ссылкой и полным отсутствием результата.

Человек, которого не было на площади

Заговорщики — члены «Северного» и «Южного» тайных обществ — готовились не один год. У них была структура, устав, конспиративная сеть, программные документы («Русская правда» Пестеля, конституционный проект Никиты Муравьёва). У них даже был формально избранный командующий на день восстания: лидеры общества, многие из которых принадлежали к высшей аристократии, избрали князя Сергея Трубецкого временным «диктатором» — то есть военным руководителем всей операции.

И вот наступает утро 14 декабря. Три тысячи солдат стоят на морозной площади, ожидая команды. А человека, которому предстояло эту команду отдать, на площади нет. Источники по этому эпизоду единодушны и по-своему беспощадны: заговорщики ждали появления князя Сергея Трубецкого, назначенного ими революционным «диктатором», но он так и не появился на площади. Рылеев, отправившийся его искать, тоже не вернулся. Официальная английская Вики-

педия резюмирует это ещё жёстче: восстание было дополнительно ослаблено тем, что его дезертировал собственный предполагаемый лидер, князь Трубецкой, в последний момент передумавший и не явившийся на площадь; его заместитель, полковник Булатов, тоже исчез со сцены.

Масштаб этой детали редко осознают в полной мере. Не отсутствие оружия. Не превосходство противника (хотя оно, безусловно, было). А буквально то, что человек, единогласно избранный командовать восстанием, в решающий час предпочёл остаться дома. Три тысячи вооружённых людей несколько часов стояли на площади в ожидании команды, которая так и не прозвучала, — пока императорские войска стягивались вокруг них. Здесь никто не выдавал секретов жандармам, как это будет с народовольцами, и всё равно результат тот же: подвёл не враг, а свой.

«Что такое Конституция — это жена великого князя?»

Здесь стоит разобрать ещё один эпизод — по-своему символичный, хотя его историческая достоверность спорна, и я обязан сказать об этом прямо. По широко растиражированной легенде, солдат, выведенных на площадь, заставили скандировать «Константин и Конституция!» — но, согласно этой легенде, многие из простых солдат искренне полагали, что «Конституция» — это, вероятно, имя супруги великого князя Константина. История эффектная и часто цитируемая как символ пропасти между образованными заговорщиками

и той самой солдатской массой, которую они вывели на площадь. Но сам же современник событий, декабрист Пётр Каховский, в письме генералу Левашову категорически опровергал этот анекдот, называя его неправдой — забавной выдумкой. Историки до сих пор расходятся, было ли это реальным свидетельством массового непонимания солдатами сути происходящего или позднейшей насмешливой легендой.

Я привожу этот эпизод именно с пометкой о его спорности, потому что куда важнее не сам анекдот, а причина, по которой он вообще стал возможен и правдоподобен современникам: сами декабристы сознательно не посвящали солдат в истинные цели восстания. Исследователи движения формулируют это без обиняков: декабристы предпочли не провозглашать свои истинные цели — отмену крепостного права и создание правительства, гарантирующего свободу, права и равенство всех людей, — опасаясь, что восстание перерастёт в массовое кровопролитие и народный бунт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.